



О ХОДЕ ИСТОРИИ

М. И. КАГАН

О ХОДЕ ИСТОРИИ

Редактор-составитель В. А. Махлин



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва

2004

ББК 87.3(2)6
К 12

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 03-03-00377

Каган М. И.

К 12 О ходе истории / Ред.-сост. В. Л. Махлин. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 704 с.

ISBN 5-9551-0028-8

Настоящее издание — первая попытка представить наследие Михаила Исаевича Кагана (1889—1937) — философа, учившегося у Г. Когена, П. Натторпа и Э. Кассирера. Большая часть работ печатается впервые, по материалам из семейного архива.

Книга предназначена для всех, интересующихся историей философии и русской интеллектуальной культуры XX века.

ББК 87.3(2)6

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshchev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G•E•C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G•E•C GAD.

ISBN 5-9551-0028-8



9 785955 100289

© М. И. Каган, наследники, текст, 2004
© Языки славянской культуры, 2004

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие редактора	7
<i>Ю. М. Казан.</i> «Люди не нашего времени»	10

О себе

Автобиография 1922-го года	23
Автобиографические заметки	24
Научная биография	28

Марбургская школа

Герман Коген	33
Герман Коген. «Религия разума из источников иудейства» (Конспект)	45
Пауль Наторп и кризис культуры	93
Пауль Наторп. «Социальный идеализм»	98

Кризис

Опыт систематической оценки религиозности во время войны	153
Еврейство в кризисе культуры	171
Кризис церкви	183
О религиозном кризисе современности	187
Из альманаха «День искусства»	191
Философия еврейской литературы	194

Философия истории

Как возможна история?: Из основных проблем философии истории:	
Статика истории	199
О ходе истории	238
О понятии истории	287
Предмет методологии истории	308
Философия и жизнь	309
Борьба за историю	322
Проблема единства бытия	333

Проблема индивидуальности	360
Философия и история	368
Бытие и разум – история и сознание	374
Наука, философия и религия	385
О смысле любви	387
Идея труда	390
О личности в истории	392
О личности в социологии	394
Введение в философию (лекции)	424
Монотеизм и политеизм.	445
Проблема пантеизма	446
Выступление и доклад М. И. Кагана в записи Л. В. Пумпянского	447

Философия искусства

Два устремления искусства (Форма и содержание; беспредметность и сюжетность)	451
О художественной правде	467
О живом смысле искусства	483
О природе стиля	520
О проблеме скульптуры	531
Что такое искусство?	544
О красоте	545
О культуре	550
Эстетика Канта	553
Сюжет	562
Искусство как отражение	565
Тезисы по докладу Г. Г. Шпета: «О границах научного литературоведения»	569
Проблема художественной прозы	573
Иван Сергеевич Тургенев (К столетнему юбилею писателя)	576

Историческое недоумение

К вопросу о преодолении исторического идеализма	585
Недоуменные мотивы в творчестве Пушкина	593
Из переписки	629
Примечания	671

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

В этой книге собраны тексты из архива философа Матвея Исаевича Кагана (1889—1937). Сегодняшний читатель спросит: а кто это? Другие, что-то где-то слышавшие или прочитавшие, уверенно ответят: а вот был еще такой неокантианец, учившийся, среди прочих перед Первой мировой войной в Марбурге, у Когена и Наторпа, — и это правда. Еще более наслышанные и начитанные добавят: М. И. Каган — друг М. М. Бахтина, участник того самого разговора в Невеле в 1918 году, из которого происходит так называемая Невельская школа философии (М. М. Бахтин, М. И. Каган, Л. В. Пумпянский) или, иначе, «Кружок Бахтина» 1920-х годов, — что тоже правда. Ну, а еще что можно такого более определенного добавить к этому, по бахтинской терминологии, «диалогизирующему фону»? Да почти уже ничего такого.

Кроме, пожалуй, того, что в 1920-е годы М. И. Каган был тесно связан с ГАХН, где, впрочем, он так ничего и не напечатал и вообще, по-видимому, не находил себя ни рядом с Г. Г. Шпетом, ни рядом с его антиподом А. Ф. Лосевым: первый для него, явным образом, — слишком формалист и атеист, второй — слишком идеалист, и оба они, конечно же, ничего не понимают в Канте, как и, увы, большинство русских философов, все равно — идеалистов или марксистов, что, кстати, так интересно тех и других сближает... Правдолюбивый и взрывной, еще в начале 1922-х бросивший преподавание в Орловском университете, где он не сумел ужиться с ректором Н. И. Конрадом (впоследствии известным востоковедом) и куда так надеялся устроить на работу М. М. Бахтина, — М. И. Каган в середине 1920-х бросает и ГАХН и с тех пор до самой смерти в декабре 1937 года (не лишне уточнить: в своей постели) занимается нейтральной по отношению к философии и идеологии общепольной деятельностью — изучает экономику советских энергоресурсов в Энергетическом институте АН; благо имел еще и основательное математическое образование и, по рассказу дочери М. И. — Юдифи Матвеевны, академик Г. М. Кржижановский именовал М. И. Кагана «хлеб института».

Да, но где же здесь контекст или затекст, коль скоро нас все-таки интересуют не советские энергоресурсы, а философия и культура?

Там, где этот фон понимания немного оплотнен и освещен, — намного ли он помогает адекватно увидеть и оценить не вообще «неокантианца», или «друга Бахти-

на», а вот этого философа — философа, которого мы вправе считать — при всех биографических и методических оговорках — *русским* уже хотя бы потому, что «советским» его назвать и вовсе язык не поворачивается?

Так вот: пусть тексты, публикуемые здесь, — для начала говорят сами за себя. Мы намеренно свели научный аппарат к минимуму, чтобы не прятать бескрайние («русско-сибирские», по наивной и верной терминологии О. Шпенглера) пустоты и лакуны упущенных смысловых возможностей русской философско-гуманитарной мысли подсоветского, но не советского, века. Пусть парадоксально осуществившаяся при жизни М. И. Кагана утопия князя К. Леонтьева о тотальном российском суперхолодильнике, где, правда, ничего особенно не живет, на зато ничего особенно и не гниет, — барская мечта, которую мы со своего исторического места вдруг по-новому начали понимать и узнавать уже в XXI веке, как сказано у Кафки, «своим телом», — пусть все это явит себя здесь в специфическом преломлении на примере одного отдельно взятого, возможного только в ту эпоху автора, который — как не раз убедится читатель этой книги — в самом деле мыслил по-древнееврейски, переводил мыслимое на немецкий, но писал чем дальше, тем лучше по-русски.

Готовя эту книгу к изданию, мы исходили из того, что настоящее, систематическое, свободное от советских (а иногда и от черезчур резвых постсоветских) предрассудков историко-философское исследование о русском неокантианстве, о ГАХН, о М. М. Бахтине и его круге, о Г. Г. Шпете, о коллеге Кагана по ГАХН Б. А. Фохте, о многом и многом другом в русской культуре XX века, не говоря уже о Г. Когене, П. Наторпе и проч. и проч., — что такое исследование пока еще в самом начале. Нам приходилось также принимать в расчет сегодняшнюю социокультурную ситуацию, настолько либеральную, что часто слышишь: «никто никого не читает». Как ни драматична или комична эта ситуация для поколения, воспитанного на голодном, зато общем, пайке не только официальной печати, но и «самиздата», — тем не менее происходящая и все углубляющаяся дифференциация читательских интересов, социальных статусов, материальных окладов, идеологических метаморфоз и элитных приоритетов, будем объективны, имеет не только свои резоны, но и свои как бы неожиданные плюсы. Эта книга претендует лишь на то, чтобы ее автор был опубликован и кем-нибудь услышан, — не больше, но и не меньше. Говоря более прозаически, историк русской философской мысли и подсоветской культуры XX века, быть может, найдет в этих работах, часто глобально задуманных, но даже почти не написанных, ценный материал для размышлений и выводов.

Это издание стало возможным благодаря не одному и не двум, а довольно многим людям. Первой здесь должна быть названа жена М. И. Кагана незабвенная Софья Исааковна Каган (1902—1994), которая семьдесят лет собирала, хранила, сберегла и донесла до нас и нашего времени рукописные материалы и документы мужа. Канадский исследователь, живущий в Германии, — Брайн Пул, — разобрал архив и превратил большую часть рукописей в тексты. В. Л. Махлин тексты отредактировал, кратко прокомментировал и составил из них книгу — работа, которая

была осуществлена благодаря помощи Натальи Владимировны Макаровой. Примечания к конспекту книги Германа Когена «Религия разума из источников иудаизма» сделаны габраистом К. Ю. Бурмистровым, а перевод написанной на идиш статьи о Тургеневе — габраистом А. М. Корниловым. Комментарий к выступлению по докладу Г. Г. Шпета принадлежат Т. Г. Щедриной. Кроме того, мы должны выразить благодарность за ценные соображения и указания, относящиеся к историко-философской стороне дела, — А. В. Ахутину, Н. З. Бросовой, Т. Б. Длугач и А. А. Кравченко.

*Виталий Махлин
Июнь 2004 года*

Ю. М. Каган

ЛЮДИ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В одном из воронежских стихотворений Осипа Мандельштама есть пронзительные строчки:

— Читателя! Советчика! Врача!

На лестнице колючей разговора б!

Я привожу эти слова в связи с тем, что после смерти М. М. Бахтина в печати появилось довольно много пересказов бесед с ним, разговоров. В то же время замечательный литературовед Л. Е. Пинский на одной из первых конференций, посвященных Бахтину, 31 марта 1976 года, кажется, имел все основания сказать, что этот глубочайший исследователь диалога был «философ-молчун». Во всяком случае, таким он представлялся навещавшему его в конце жизни Пинскому. Думаю, что в конце жизни Бахтина так и было. Моей матери, приглашая ее и меня навещать его почаще, М. М. Бахтин говорил: «Приходите! Вам всегда можно! У нас же с вами воспоминания!..». Здесь имелась в виду и некоторая общность духовной культуры. Даря моей матери новое издание книги «Проблемы поэтики Достоевского», он сделал такую надпись: «Дорогой Софье Исааковне Каган с уважением, любовью и в память незабвенного Матвья Исаевича...». Незабвенного.

Из опубликованных теперь писем и записочек невеликих друзей — В. Н. Володинова, Л. В. Пумпянского, а также по обнаруженным недавно в газете «Советская Мордовия» отрывкам показаний М. М. Бахтина, сохранившимся в его следственном деле, видно, что и в Невеле, и потом в Витебске, в Ленинграде были у них разговоры до утра, серьезные обсуждения серьезных книг по философии, искусству, теологии, рассказы о собственных исследованиях и размышлениях. Были собеседования и собеседники.

Когда я начала знакомиться с архивными материалами ГАХНа (Государственная Академия Художественных Наук), где мой отец был членом философского отделения, то иногда после первого документа — после листа с подписями присутствующих на том или ином заседании — дальше почти невозможно было читать, так как едва ли не каждое имя говорило о страшной участи, постигшей этих людей. Исчезали собеседники, оппоненты. Их арестовывали, изгоняли из страны, высылали, лишали возможности заниматься тем, в чем они видели свое призвание.

ние, их просто убивали... Философия и всякая свободная мысль мало-помалу становилась катакомбной, да и в катакомбах собеседников постепенно становилось все меньше и меньше. Изменялось не только их количество, но и качество. Утрачивалась преемственность мысли, речи. Ведь, — как писал мой отец в своей работе «О ходе истории», — «к слову нельзя относиться с безразличием, потому что слово всегда больше своего исключительно словесного значения...».

В начале июня 1960 года сразу после похорон Пастернака я приехала к своему учителю А. Ф. Лосеву, чтобы рассказать, как проходила в Переделкине эта церемония, кто был, что говорили... Лосева я знала давно и была совершенно поражена, увидав, что он с трудом сдерживает рыдания, плачет. Это был плач не только по Пастернаку, а и по себе, по всей ушедшей, как он думал, навсегда эпохе. Он в слезах повторял: «Какой был дух! Какой был дух на этой земле! И все погубили!» Я беспомощно пыталась его утешить, говоря, что нет, не все погублено, что есть молодые, которые сейчас стараются продолжить то, что тогда было, они читают, думают, рассуждают... Я знала таких людей. Лосев отвечал мне, что я так говорю, потому что не могу даже представить себе, какой была духовная жизнь России в конце десятых — начале двадцатых годов! Действительно, людей с интеллектом такого ранга больше мне встречать почти не доводилось.

И вот я думаю, если есть какая-то возможность не по пересказам, а непосредственно от самих тех людей не нашего времени, думающих «не по-нашему», хоть как-то представить себе, что же говорили тогда те, кого оплакивал Лосев, что хотели они сказать друг другу и тем, в ком их слова, по их мнению, могли еще найти отзвук, что от их мысли дошло до нас, то наш долг их выслушать и, несмотря на все трудности, постараться понять. Тем более что, как и все свободно думающие люди, вовсе не всегда они были согласны друг с другом. Общим у них было отличие от официально признанной идеологической «линии», а также несомненный интерес к ряду одних и тех же близких им проблем теории познания, эстетики, религиозной мысли.

М. К. Поливанов — внук философа Г. Г. Шпета, физик и историк культуры — в своей статье «Тайная свобода» писал о том, что Ахматова, говоря с ним как-то о романе «Доктор Живаго», сказала, что Пастернак описывает ее время, но что она никого в его книге не узнает. М. К. Поливанов пояснил слова Ахматовой: «Таких людей не было видно в литературно-художественном обществе тех лет, они были незаметны среди посетителей “Бродячей Собаки” или кружка около “Мусагета”. Легче представить себе их где-то среди молодого окружения участников сборника “Вехи” или, позднее, в том Невельском кружке, из которого вышли Юдина, Бахтин, Матвей Каган (...) Почти все люди этого рода были уничтожены или прожили свою жизнь очень незаметно...».

Известно, что М. М. Бахтин и мой отец были близко знакомы с 1918 года по 1921-й. Круг друзей сложился в первые послереволюционные годы в двух маленьких городах в пределах бывшей «черты еврейской оседлости» — в Невеле и Витебске. Невель для моего отца был родным городом. Еврей, сын небогатого купца-

кожевника, он учился сначала в хедере, потом в русском народном училище для еврейских детей. В 1909 году он уехал из Невеля и экстерном закончил гимназию. Латынь сдавал поэту Иннокентию Анненскому, стихи которого очень любил. (Это об Анненском О. Мандельштам писал, что тот «являл пример того, чем должен быть органический поэт: весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя статья...»¹). Получив аттестат зрелости, М. И. Каган, высокий интеллектуализм которого отмечали позднее все знавшие его, отправился в Германию с целью поступить там в какой-нибудь университет на философский факультет. Учился у Германа Когена, Пауля Наторпа, Эрнста Кассирера, а также у знаменитого Вундта и у не ставшего еще тогда знаменитым Николая Гартмана. Ко времени возвращения в Россию М. И. Каган был уже убежденным неокантианцем, доктором Марбургского университета. Он был рад обрести в Невеле новых друзей. Они были рады узнать его. Встреча их оказалась важной для всей их жизни. Учившийся в 1912 году в Марбурге у Когена Борис Пастернак писал в «Охранной грамоте» восхищенно: «Марбургское направление покоряло меня двумя особенностями. Во-первых, оно было самобытно, перерывало все до основания и строило на чистом месте (...) Не подчиненная терминологической инерции Марбургская школа обращалась к первоисточникам, т. е. к подлинным распискам мысли, оставленным ею в истории науки (...).

Вторая особенность Марбургской школы прямо вытекала из первой и заключалась в ее разборчивом и взыскательном отношении к историческому наследству (...)².

В маленьком Невеле вокруг Бахтина, Пумпянского и Кагана сложился недолго просуществовавший домашний философский семинар, который современники называли «кантовским». К 1920—1921 годам из участников этого семинара в Невеле оставались, кажется, только Бахтин и Каган. Потом Каган уехал преподавать в только что открывшийся Орловский университет. Бахтин перебрался в Витебск, потом в Ленинград. Каган стал жить в Москве. Изредка он приезжал в Ленинград, но, связанный службой, часто видеть старых друзей не мог. Связи слабели. Хотя в 1929 году в борьбе за спасение Бахтина от заключения в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) весьма активно участвовали вместе со старым другом М. В. Юдиной и моя мать, и мой отец.

Встреча же Бахтина и моего отца произошла только через много лет. Это было в 1936 и в 1937 годах. Я была ребенком и знала о Бахтине только, что мой отец очень любит его и всегда помнит, что он в ссылке и что ему надо помогать. А чужим людям об этом ничего не рассказывать. Встречу летом 1936 года я очень хорошо запомнила. Мы читали вслух Гоголя. «Русь, куда несешься ты, дай ответ. Не дает ответа!..» В квартиру позвонили, отец пошел открывать и долго не возвращался. В нетерпении я отправилась посмотреть, что его задерживает. В коммунальной квартире, на лестничной площадке в слезах молча стояли, обнявшись, мой отец и какой-то незнакомец. Это был Михаил Михайлович. Телефона у нас не было. Приезд был несожиданным.

На лестнице колючей разговора б!..

Встречались и разговаривали они тогда каждый день. Так же было и летом 1937 года. Через пятнадцать лет они снова оказались дороги и нужны друг другу. Встреча в 1937 стала последней. В конце декабря мой отец скончался от приступа грудной жабы. Ему было 48 лет. Когда, нарушив паспортный режим, Бахтин приехал проститься со старым другом, он буквально не мог оторваться от бумаг, еще лежащих на письменном столе. Мы с матерью не знаем, что было в этом порыве; может быть, желание узнать, о чем же они не договорились... Время было страшное. Еще с середины двадцатых годов мой отец стал заниматься экономикой и изучением энергетических ресурсов СССР. В тридцатых годах он был уже известным специалистом в этой области. Проживи он дольше, его, несомненно, арестовали бы, и можно только благодарить Бога за то, что он умер дома и не попал в руки злодеев. В письмах к моей матери — она была геологом и уезжала в экспедиции — он среди прочего скупко писал о судебных процессах, о том, что вспоминает романы «Бесы», «На ножах», хроники Шекспира, писал о мучающем его прозябании, о невозможности участвовать в жизни, т. е. о невозможности жить. После последней встречи с Бахтиным, по его совету он стал записывать свои мысли о стихах Пушкина в надежде издать статью к столетнему юбилею поэта. Через много-много лет эти записи стараниями С. Г. Бочарова удалось опубликовать. Бахтин написал необходимую для издательства «внутреннюю рецензию», в которой были слова о том, что эта работа «производит освежающее впечатление». Правда, название в издательстве «Советский писатель» изменили. Было — «Мотивы трагического недоумения Пушкина». Стало: «О пушкинских поэмах». Считалось, что недоумений у Пушкина быть не могло. Тем более трагических. Конечно, жалко, что не все было записано. М. М. Бахтин настаивал, чтобы я лучше искала, внимательнее читала оставшиеся бумаги, т. к. он предполагал, что должны были быть записи не только о южных поэмах, но и о «Евгении Онегине», потому что в последний раз они об этом разговаривали... Увы, среди бумаг моего отца заметок о «Евгении Онегине» нет. Как нет записей о «Сцене из Фауста», хотя некоторые знакомые вспоминали, как он читал им эту вещь и говорил что-то «очень интересное».

И все-таки: что было до последней встречи в 1937 году? У нас сохранилось Евангелие, которое в 1919 году в Невеле подарил моему отцу расстрелянный в 1938 году Б. М. Зубакин, чьи стихи любил и незадолго до своей смерти читал моей матери и мне наизусть М. М. Бахтин. На подаренной книге есть такая надпись:

Легенды древние не миф.
Господь и мир — все *semper idem*.
Как Моисей с горы Хорив,
Обетованное мы видим.
Ошибки скорбные простив,
Мы никого не ненавидим.
И мнится нам на высях Гор
Вселенской Радости Собор!

Это стихотворение стоит особняком среди всех других стихов Зубакина. Обращает на себя внимание повторение слов «мы», «нам», сопоставление Господа и мира, ощущение того, что эти «мы» как бы окликнуты Богом и способны видеть будущее; последние же строки напоминают много раз повторяемые моим отцом слова о том, что суть истории — в цели... «Сама же цель остается трансцендентной». Перед стихотворением посвящение: «Другу и Брату...».

В частично опубликованных теперь материалах из следственного дела в одном из протоколов Бахтин писал, что в своем реферате, посвященном Шелеру, он говорил об исповеди. «Исповедь, по Шелеру, есть раскрытие себя перед другим, делающее социальным (“словом”) то, что стремилось к своему асоциальному внесловесному пределу (“грех”) и было изолированным, неизжитым, чужеродным телом во внутренней жизни человека». А за несколько лет до этого, в 1925 году, мой отец в одном из писем писал об исповеди как основной коллизии поэмы Пушкина «Братья — разбойники». Исповедь брата перед людьми, которые не ведают о братстве, перед «интернациональным сбродом безродных»... Легко предположить, что во время гражданской войны, в первые годы революции и братство, братоубийственные распри, возмездие, и исповедь, раскаяние были предметами размышления и обсуждения не у одних только невеликих друзей. «Другу и Брату» с прописными буквами написал Зубакин, который был розенкрейцером, и слова эти у него наполнились особым смыслом. Бахтин вспоминал, как Зубакин, очень отличавшийся от них, просил его и моего отца: «Я буду печку топить и воду носить, а вы разговаривайте! Только разговаривайте!».

Вероятно, М. М. Бахтин знал статью моего отца по поводу смерти Германа Когена. Она была опубликована уже в Москве, но написана еще в 1918 году, и вполне вероятно, что идеи этой статьи, касающиеся этики и эстетики, обсуждались в Невеле. «Чтобы эстетика могла быть самостоятельной, она должна иметь и свой ясный особый род сознания (...) Необходима не только *своеобразность* объективной идеи красоты, но и методическое обоснование ее *особого рода* сознания»³, — писал тогда мой отец. — Именно своеобразие и особость того, о чем он рассуждал, стали, главным образом, предметом его внимания.

Когда-то, еще в 1921 году, в одном из писем в Орел Бахтин писал своему старшему другу: «К сожалению, приходится признаться, что в России Вам еще долго придется быть одиноким, и встречать Вы будете в лучшем случае уважение и очень мало понимания и сочувствия, ведь у нас, как это ни дико, и под “философией” понимают нечто весьма мало похожее на то, что понимаете Вы, и не только в среде обывателей, а и присяжных наших философов...».

В работе Бахтина, относящейся к началу двадцатых годов и опубликованной позднее под названием «К философии поступка», есть место, как бы поясняющее эти слова: «Можно и должно признать, что в области своих специальных задач современная философия (особенно неокантианство) достигла очевидных высот и сумела наконец выработать совершенно научные методы (чего не сумел сделать

позитивизм во всех видах, включая сюда и прагматизм). Нельзя отказать нашему времени в высокой заслуге приближения к идеалу научной философии». И он продолжает: «Но эта научная философия может быть только специальной философией, т. е. философией областей культуры и их единства в теоретической транскрипции изнутри самих объектов культурного творчества и имманентного закона их развития. Зато эта теоретическая философия не может претендовать быть первой философией, т. е. учением не о едином культурном творчестве, но о едином и единственном бытии-событии. Такой первой философии нет, и как бы забыты пути ее создания. Отсюда и глубокая неудовлетворенность участно мыслящих современной философией...» (ФП. С. 96).

Большой интерес для попытки воссоздания того, какие разговоры велись в маленьком городе (собеседники шутливо именовали его «нашим Марбургом»), о чем они там думали, представляют неизвестные до сих пор работы моего отца, такие, например, как написанная в конце 1918 года статья «О личности в социологии», примыкающий к работе «Как возможна история?» начатый в 1920 году труд «О ходе истории» — причем, проблема «хода истории» интересовала его здесь как проблема систематической философии. Примечателен и его доклад 1922 года «Два устремления искусства» с подзаголовком «Форма и содержание; беспредметность и сюжетность», отрывок «О проблеме скульптуры», а также некоторые другие, относящиеся как раз к периоду создания преимущественно философских работ Бахтина. Знакомление с ними даст возможность ощутить некоторый контекст этих работ. («О ходе истории» объемом около 60 машинописных страниц написана по-русски и, может быть, представляет собой новый вариант написанного в 1915—1916 гг. по-немецки несохранившегося труда «Von Gang der Geschichte» объемом в 15 листов).

Прежде чем говорить что-то об этих работах, я должна предупредить, что они не были подготовлены автором к печати и представляют собой нередко черновики, фрагменты... Когда-то О. Мандельштам назвал фрагменты «драгоценными клочками», так как часто они «обрываются как раз там, где больше всего хочется продолжения...»⁴ В условиях нашей российской действительности («под этим, — как говорил Бахтин, — безблагодатным небом») приходится радоваться, что в семейных архивах фрагменты вопреки этой истории и этой действительности сохранились.

И еще одно «предупреждение». Знакомые с опубликованными работами М. И. Кагана не могли не заметить сложности изложения и без того достаточно сложных вопросов. В связи с этим я хочу рассказать, как Анастасия Цветаева, услышав в начале 1922 года у Бердяева какой-то доклад моего отца, не поняла его и сказала об этом бывшему там Б. М. Зубакину. Тот ей ответил: «Ничего нет странного! Он думает по-древнееврейски, переводит на немецкий и произносит по-русски! Но Вы слушайте его! Это — Иоанн Богослов нашего времени!». А. Лосев, хорошо знавший отца еще в ГАХНе, даривший ему свои книги, сказал мне как-то: «Матвей Исаевич не мог быть большим ученым. Для этого он — слишком хороший человек. Ученому сейчас надо многого не видеть, а он на это не был способен...».